



ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

РАСПУТИН

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

ПОСЛЕДНИЙ СРОК

р у с с к а я к л а с с и к а

Валентин Григорьевич Распутин

Последний срок

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42383423
Последний срок (сборник): АСТ; Москва; 2019
ISBN 978-5-17-106021-3

Аннотация

Простой крестьянин Кузьма пытается собрать деньги, чтобы покрыть магазинную недостачу, по наивности и доброте допущенную его женой Марией, – и кого только не встречает на своем пути... В сельской избе умирает старуха Анна, а давно выросшие и покинувшие родительское гнездо дети то горюют, то пьют горькую, то вспоминают о временах, проведенных в отчем доме, то сбиваются на повседневные мелочи... Повести «Деньги для Марии» и «Последний срок», вошедшие в этот сборник, – настоящая летопись русской души, великой и страшной, щедрой и светлой, темной и жестокой, самое себя в полной мере не осознающей. Души, которую Валентин Распутин знал, как ни один другой отечественный писатель XX века.

Содержание

Деньги для Марии

5

Конец ознакомительного фрагмента.

104

Валентин

Григорьевич Распутин

Последний срок (сборник)

© В.Г. Распутин, наследники, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Деньги для Марии

Повесть

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, — ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

– Деньги для Марии, – отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

– Что вам надо?

– Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится, и в свой час придет рассвет, и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закры-

вает глаза – теперь можно спать. Спать, спать, спать... Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок – все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

- Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.
- В город? – настораживается Мария.
- В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

- Не даст он, – говорит она.
- Ты не знаешь, где конверт с адресом? – спрашивает Кузьма.
- Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

– Нашел?

– Нашел.

– Не даст он, – повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, никто не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

– Сам-то назад приедешь? – спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя, что сказать на прощанье, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить – автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер – все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в пле-

чи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер – ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат – непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней – все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно – только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

– Перерыв, – говорит он. – Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в де-

ревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне – продовольственные, в другой – промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть больше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки,

коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

– Как там у тебя? – осторожно спросил Кузьма.

– Да как – пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму.хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взиграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись, от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом

простят друг другу все свои обиды.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду – председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл и, только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят, он увидел отца и убежал в дом. «Что это с ним?» – с недобрый предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку – один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят: – Не выдали мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комна-

ту. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят:

– Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, семянят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки наконец нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе ее лицо и спросил:

– Сколько?

– Ты-тысяча.

– Что – новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит, – настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне, вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул.

– Уберите его!

Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос

смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору:

– Я с тобой буду как на духу – не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

– Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

– Тысяча, – подтвердил ревизор.

– Новыми?

– Теперь на старые счета нет.

– Да ведь это сумасшедшие деньги, – задумчиво произнес Кузьма. – Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

– Не знаю, – покачал головой ревизор.

– А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

– Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

– Какое там образование – грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей

сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

– Товары она всегда сама получала или нет? – спросил ревизор.

– Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

– Тоже плохо. Так нельзя.

– Ну вот...

– А самое главное: целый год не было учета.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла – после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

– Что же теперь будет-то? – спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь – к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

– Идите отсюда! – цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

– Я завтра еду дальше, – придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. – Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней... – Он замялся. – Одним словом, если вы за это время внесете деньги... Вы меня понимаете?

– Чего ж не понять, – откликнулся Кузьма.

– Я же вижу: ребяташки, – сказал ревизор. – Ну, осудят

ее, дадут срок...

Кузьма смотрел на него с жалкой, подергивающейся улыбкой.

– Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

– Понятно, понятно.

– Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

– Тысячу рублей, – сказал Кузьма.

– Да.

– Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

– Спасибо тебе, – сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал – для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

– Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька – босиком, в майке.

– Чего тебе?

– Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, что-

бы отец сказал это словами.

– А как же! – ответил Кузьма. – Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

– Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

– Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

– Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

– Что? – не понял Кузьма.

– Слышал я про Марию, – ответил председатель. – Теперь уж вся деревня, поди, знает.

– Все равно не скроешь – пускай, – потерянно махнул рукой Кузьма.

– Что будешь делать? – спросил председатель.

– Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

– Надо что-нибудь делать.

– Надо.

– Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу, – сказал председатель. – Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим – чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

– Спасибо тебе.

– Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

– Плохо.

– Ты иди скажи ей.

– Надо сказать. – У дверей Кузьма вспомнил: – Я на работу сегодня не выйду.

– Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

– Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду, – сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

– Ты слышишь? – спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвиняла шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

– Кузьма! – задыхаясь, шептала она. – Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

– Родной мой! – иступленно шептала она. – Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он наконец вырвался.

– Дура баба, – прохрипел он. – Ты что, с ума сошла?

– Кузьма! – слабо позвала она.

– Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

– Кузьма!

– Ну что?

– Кузьма! – ее голос становился все слабей и слабей.

– Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью – взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока.

Из хозяйства продавать больше было нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется зани-

мать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую – начини он только поиски денег – уже не исправить. И он долго не двигался – казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семяют так, что не понять – или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно

следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

– Что там – торгуются, что ли? – кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

– Оказывается, нет билетов.

– Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! – кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

– Не знают, как деньги выманить, – возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка. – Понаделали мягких вагонов – кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

– В самолетах и летайте, – беззлобно отвечает кассирша.

– И полетим! – кипятится тетка. – Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совети у вас нету.

– Летайте себе на здоровье – не заплачем!

– Заплачешь, голубушка, заплачешь, когда без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда

часов пять, не меньше. А может, все-таки взять в мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет – может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», – почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле – лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна – чего уж теперь по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

– Мне до города, – говорит ей Кузьма.

– Билеты только в мягкий вагон, – будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

– Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, проживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино – как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им

еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много – тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

– А, Кузьма, – встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь. – Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься – не заходишь.

– За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

– А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

– Ничего.

– Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал, и все ничего?

– Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

– А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет

пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, потом восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой – она у него тоже учительница, – зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое – и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

– Может, я не ко времени?

– Сиди, сиди, как это не ко времени! – удержал его Евгений Николаевич. – Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

– Как будто.

– Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

– Чай не надо, – отказался Кузьма. – Не хочу. Недавно пил.

– Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

– Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

– Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному

пришел.

– По делу? – Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. – Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

– Не знаю, как и начать, – замялся Кузьма.

– Говори, говори.

– Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

– Сколько тебе надо? – зевнул Евгений Николаевич.

– Мне много надо. Сколько дашь.

– Ну, сколько – десять, двадцать, тридцать?

– Нет, – покачал головой Кузьма. – Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась – может, ты знаешь?

– Ничего не знаю.

– Вчера ревизию кончили – и вот преподнесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

– Неприятность какая, – сказал он.

– А?

– Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

– Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него – он чуть заметно морщился.

– Судить могут, – сказал Евгений Николаевич.

– Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

– Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

– Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

– Что ты мне-то говоришь? – обиделся Евгений Николаевич. – Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

– Нет. – Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему. – Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

– Они этого не понимают, – махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

– Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

– А сейчас не дает?

– Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху.

Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

– А ты уже к кому-нибудь ходил? – спросил Евгений Николаевич.

– Нет, к тебе первому.

– Что ж делать – дать придется! – вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич. – Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

– Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

– А я не знаю. Я не про тебя, конечно, – вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет. – Он опять поморщился. – Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть – сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

– На то мы и люди, чтобы быть вместе, – говорил Евгений Николаевич. – Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

– Я отдам, – сказал Кузьма.

– Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет – так живут.

Да ты сам знаешь – что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он наконец вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий – как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал – это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

– Ты уж прибежала. – Он готов был выбросить Комариху за дверь. – Почуяла. Как ворона на падаль.

– Я не к тебе пришла, и ты меня не гони, – затараторила Комариха. – Я вот к Марии пришла, по делу.

– Знаю я, по какому ты делу пришла.

– По какому надо, по такому и пришла.

– Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

– Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится – уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

– Я не боюсь. – Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. – Поди, не во-

рую – чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

– Сейчас она тебе наворожит! – усмехнулся Кузьма.

– А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

– Где там – всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

– Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

– А казенный дом тебе, девка, слава те господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога – вот она, дорога, и бубновый интерес.

– Ага, орден в Москву вызовут получать, – не выдержал Кузьма.

– И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты – не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо. – Видно, Комариха собрала карты. – Сними-ка, девка. Хотя нет, подожди, тебе снимать нельзя. Надо, чтобы был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

– Нету.

– Ах ты, беда!

– Да давай сниму, – сказала Мария.

– Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! – ласково запела Комариха. – Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое.

Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

– Язви тебя! – Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

– Вот так. У меня зять тоже не верил, партийный был – как же! – а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

– Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем – сра-а-зу и про Бога вспоминают и про слуг его, которым в глаза плевали.

– Мели, мели, Комариха, – устало отмахнулся Кузьма.

– А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

– Да ты раскрывай карты-то, – заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не попра-

вить. Молчать было тоже не в состоянии. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелилась она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

– Кузьма, – произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза – ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

– Иди сюда, – позвала она, не глядя на него.

Он подошел.

– Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

– Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало плохо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу, — всхлипывала она. — Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу...

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому, — со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге беспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно: он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две

минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но, перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся – плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня – это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая – к физической он привык.

– Билет ваш покажите! – раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается – подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза – на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и вино-

вато говорит:

– В другие вагоны билетов не было.

– А вы и рады, – зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

– Извините, пожалуйста, тут вот пассажир... – она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: – С билетом.

– Неужели с билетом? – щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

– Не может быть! – сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: – Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

– С билетом...

– Неужели нельзя было посадить к нам кого-нибудь без билета?! – полковник недовольно качает головой и даже цокает языком. – Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

– Вы все шутите, – с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери. – Мне правда больше его некуда девать, все занято. – Уходя, она уже и сама пытается шутить. – Но он с билетом...

– Заходи, заходи, – кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

– Полка твоя вон там, – полковник показывает наверх. – Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

– Да я не робею.

– Воевал?

– Довелось.

– Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

– Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила, – подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке. – Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

– Ну-у, – понимающе отвечает ему человек в белой майке. – К ним она так просто не пойдет.

– А к нам, выходит, можно?

– Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции, – человек в белой майке подмигивает полковнику.

– Не директор радиостанции, а председатель областного

комитета по радиовещанию и телевидению, – сухо поправляет Геннадий Иванович.

– Поверьте, для нее это не имеет разницы.

– Не понимаю... – Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел – обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился – не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что – все-таки надетая. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей – так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

– Подожди, подожди, – полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку. – Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

– Из деревни? – спрашивает Кузьму человек в белой май-

ке.

– Из деревни.

– Постель должна быть где-то там, – полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полати. Тогда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

– Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? – спрашивает человек в белой майке.

– По духу.

– Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

– А я думал, по духу, – насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится – сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке – с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но

он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется – такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

– Как вы там в деревне, дорогой товарищ? Отстрада-дова-лись? – человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

– Отстрадавались, – отвечает Кузьма.

– И как урожай?

– В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

– В этом году урожай везде хороший, – говорит полковник. – Так что деревня живет.

– А она всегда живет, – с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович. – Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

– Это было не от хорошей жизни, – заглядывая в окно, возражает человек в белой майке. – Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

– Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? – спрашивает он.

– Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

– А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а деревне в это время делать почти нечего – почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

– На заводе нужна квалификация.

– У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

– Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

– Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже, – говорит Геннадий Иванович. – Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь – все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит, – особенно если наблюдается улучшение, – лишь бы не

лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

– Ну и что? – спрашивает человек в белой майке.

– Ничего. – Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой. – Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет – государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный», – думает Кузьма, но молчит.

– Хлеб мы все едим, – говорит человек в белой майке.

– Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, – отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает. – Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

– Что это вы сегодня на нее ополчились? – спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно – нет,

не приказание – а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

– Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания, – не сразу сдается Геннадий Иванович. – Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

– Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас – что мы будем себе зря голову ломать? – добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник. – Давайте найдем себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

– Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет министров? – Он окликает Кузьму: – Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

– В преферанс? – Кузьма не знает, что это такое.

– Он в «дурака» играет, – подсказывает Геннадий Иванович.

– В «дурака», ага, играю, – простодушно признается Кузьма.

Раздается смех – смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мо-

тора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

– «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз... Придется вам опять идти за своим товарищем, – говорит полковник человеку в белой майке. Тот, вскакивая, козыряет:

– Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

– Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

– Не очень много.

– Неужели не хватит?

– Хватить-то хватит. – Геннадий Иванович смотрит на часы. – Но там сейчас перерыв.

– Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

– Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

– Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом

мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении. — Он протягивает ей деньги. — Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно, — привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», — думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорее заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крикает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными

потеками, по воздуху, как по реке в половодье, несет мусор. Маленькие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги стоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят – натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

– Эй, товарищ! – слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается. – Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? – Человек в белой майке показывает на преферансиста. – Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

– Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше, – говорит преферансист.

– Мне все равно, – безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

– Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

– Мне все равно, – повторяет Кузьма.

– Вот и замечательно, – радуется человек в белой майке. – Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить, – говорит он Кузьме. – Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапо-

ги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен – ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает – может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

– До свиданья, – обрачиваясь, говорит Кузьма.

– Будь здоров, – отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали – опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый – уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить Бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой

деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребяташками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребяташек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними случилось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинными. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет – откроет магазин, не захочет – не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар, – попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского,

из училища механизации, к ней часто навевывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца – в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь – когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить – деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно – нет, надо терять день, а то и два. Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие – но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь – значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезненным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она ле-

чилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно – вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином – тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин – крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

– Тут и не такие головы летели, куда уж мне, – отговорила она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

– Смотри сама, Мария. – И отшутился: – Если что – корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть, — повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнивать ее с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но не трудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было наро-

ду, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, и идут когда попало – Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не придется из последних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером – уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин уже опечатан, никакой бутылки сегодня не будет – нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома – ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь – бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче – вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег – не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умыться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась; тогда он

привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

– Вот ты советская власть, – доказывал он, обращаясь к председателю, – скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить, что он хочет? Чего она из себя корчит – законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

– Дай ты ему, – чтобы только отвязаться, сказал председатель.

Мария решила схитрить.

– Доверенность принесет – тогда дам.

– Какую еще доверенность? – разинул рот Михаил.

– Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным – видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках – несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть.

Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, потом ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то – если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин – так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезла в магазин клеенки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

– Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают – там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые – как я другим-то в глаза будут глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет – на крыльце уже толкалась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по

хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребяташками, и говорит, что ее Катю без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех; только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмочь. Когда ревизор наконец приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал

их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребяташек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, не достача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить – было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее, – с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал ее, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула – даже не уснула, а забылась, не страдая, – так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст Бог, еще и обойдется, если Кузьма

успеет собрать сколько надо... в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и семьдесят копеек: Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить – не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами. Почему не верила, она и сама не знала.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седы-

ми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит, третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

– Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

– Понятно, – говорит он. – Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка. – Он выбрасывает одну руку влево. – Это бабушка. – Вторая рука опускается вправо. – А это я. – Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

– Эх красиво! Эх красиво! – качает головой старуха. – Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайтесь на него внимания, располагайтесь, – говорит она Кузьме. – Он у нас опять в ресторан ходил.

– А что я такого сказал? – гремит парень. – Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

– Пока ничего обидного не было, – осторожно отвечает Кузьма.

– Во! Слышала, бабуся? Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

– Уйди! – сердится старуха. – Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

– Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь – не надоел, а я раз обнял – и надоел! Дед! – кричит он. – Отбить у тебя старуху?

– А это как сумеешь, – неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

– «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

– Эк красиво! Эк красиво!

– «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

– Дед, а ты, когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

– Я ее за всю жизнь пальцем не тронул, – с достоинством отвечает старик.

– Ни разу, ни разу?

– Ни разу.

– Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, – говорит старуха.

– Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

– Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

– С вами.

– Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормозит парня:

– Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

– А что – у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему – парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается – тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно – там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все

идут и идут.

– Товарищи колхозники! – поднимается председатель. – Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

– Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, – говорит председатель. – Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» – прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, – испуганно шепчет он, – посмотри: народ-то не наш, чужой». – «Да ты что? – отвечает она. – Что с тобой, Кузьма? Все наши». Кузьма всматривается в зал внимательно и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле все свои, деревенские.

– Товарищи колхозники! – говорит председатель. – Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

– Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, – продолжает председатель, – и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует,

мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

– Нет.

– Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный, – шепчет она. – В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

– Двести двадцать пять человек, – кричат из зала.

– Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, – подсчитывает председатель за трибуной, – на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

– Чего там – по пять рублей на брата, – округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидели Кузьма и Мария, – уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

– Все отдали? – спрашивает председатель. – В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки – пятерки, тройки и рубли

отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

– Одна тысяча сто двадцать пять рублей, – наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

– Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

– Пускай забирают все, – советуют ему.

– Нет, так нельзя, – не соглашается он. – Сто двадцать пять рублей – большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать – не надо, но чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

– Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

– Там их нет! Нет ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

– Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слышать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

– Сегодня не болит? – спрашивает его старуха.

– Нет, сегодня спокойно.

– Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он

лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

– Сережа, – доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. – Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

– Теперь, конечно, получили, – отвечает старик.

– Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

– Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

– Ладно, ладно, – согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал,

дед Гордей спросил:

– Много он тебе посулил?

– Сто рублей.

– Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

– Говорит, нету больше.

– Слушай ты его! – хмыкнул дед. – Нету – как же! Грамотный, холера, сильно! Не столько грамотный, сколько хитрый, – вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо – еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем

осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился, и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облакочиваться, и сказал:

– Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

– Ладно тебе, дед, – отмахнулся Кузьма. – Откуда у тебя деньги – чего тут говорить!

– Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараквали, а пошли бы да и взяли у меня.

– Я уж как-нибудь сам справлюсь, – сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него. – Чего я еще тебя

буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колени пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

– Дак ты, говоришь, у Евгения Николаевича был? – снова начал он.

– Был, был.

– У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

– Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

– Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу – мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь...

– Ладно, дед, ладно, – примирительно сказал Кузьма.

– Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколько раз деньги в руках держал – по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу и катанки скатаю.

В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить – как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого – там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

– Раскипятился ты, дед.

– Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали – так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка – ставил, не было – ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на помочь. А теперь все за деньги. Огород спашет – десятка, сена привезет – десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле – рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут – ну не стыд ли?

– Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

– Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил – молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала

недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

– Если брать с верхнего края, – очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: – Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. – О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как до дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

– Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! – обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить: – У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. – Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: – Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно – вдруг да осталось сколько. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

– Правда.

– Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни. – Дед коротко хохотнул, как кашлянул. – У этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? – тянул свое дед. – Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребяташки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

– Найдем, дед, найдем.

– Найдем, – передразнил его дед. – У кобылы под хвостом они спрятаны – там ищи.

– Деньги у людей есть.

– Откуда они?

– Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

– У Степаниды, однако, и правда есть.

– Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

– Дак это когда было.

– Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

– А я тебе ничего такого и не говорю.

– Ну и ладно. – Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. – Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

– Ну и балаболка ты, Кузьма, – прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

– Дак я к тебе буду заходить узнавать.

– Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты непустишь.

– Кхе-кхе-кхе, – закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебивало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они

встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет его и поможет ему.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке – на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подошла проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось,

что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостатке и теперь не знает, как себя вести, а охоть да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяйева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

– Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

– Зайду, – пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей,

вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он придет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Мед-

ведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там навеститься к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

– Ну как, был у брата?

– Был, ага, заходил.

– И как он там?

– Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, – уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

– Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать.

Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный ломоть – и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что случилось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов, брат сам должен понимать, что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой

человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу выйдет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

– Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

– Не даст он, – помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть – хорошо, нет – ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги... Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежка на них горит, как на огне. Еще удивитель-

но, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше его ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов, каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса – без этого нельзя было обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку – заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду, Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежела-

ние понять его беду, — он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотни, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди

откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень постучали.

– Кто там? – приподнялся Кузьма.

– Кузьма, выйди на минутку, – позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

– Кто это?

– По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

– Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

– Чего в избу не заходишь? – спросил Кузьма.

– Нехорошо получилось, – не отвечая, сказал Василий. – Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

– Сам знаешь зачем.

– Догадываюсь.

– Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету, – со слабой надеждой сказал Кузьма.

– Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.

– В избу заходить будешь?

– Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели де-

ревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

– Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя обогреют.

– Это так, – отозвался Василий.

– Еще вчера все ладно было.

– А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет – до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

– Да-а.

– Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

– Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

– К Степаниде? – Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: – А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

– Пошли. Чтоб уж сразу.

– А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? – уже по

дороге спросил Кузьма.

– Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться – доброе дело собрался делать!

– Я теперь как космонавт, – невесело пошутил Кузьма. – Куда ни пойдешь, вся деревня знает.

– А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои – это уж точно – вся деревня считает.

– Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, пойдешь, с утра ждет.

– И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры. Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, чтовширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что

соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька – в коротком, тесном ей платыце, с голыми крепкими коленками.

– Явилась! – найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. – Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

– А то они не видали! – лениво огрызнулась Галька.

– У-у, бесстыжие твои глаза!

– Ага, а твои не бесстыжие?

– Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

– Измаялась я с ней, – стала жаловаться Степанида. – Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

– Ага, была там у тебя кровь, – отозвалась Галька. – У тебя там помои, а не кровь.

– Во, слышали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

– Делать вам нечего, вот и грызетесь, – сказал Василий. – Ты, Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

– Ну и хитрый ты, Василий!

– А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

– Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли че ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

– Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

– Она, она, – заверила Степанида.

– Вот с этого бы и начинала, – повеселел Василий, – а то связалась со своей Галькой.

– Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар – видно, за закуской.

– О деньгах сразу не заговаривай, – предупредил Василий. – Обождем, когда готова будет.

– Да ты сам и скажешь.

– Можно и так.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

– Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

– Ну и змея же ты, Галька! – рассердился Василий. – Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

– Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?

– А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

– Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

– Тише ты! – зашипел Василий.

– Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему. – Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: – Мне тетку Марию жалко. – Снова перевела взгляд на Василия. – Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

– Здорова же ты горло драть, – сдерживаясь, подивился Василий.

– Ага, не на ту попал.

– Ладно вам, – стал успокаивать их Кузьма.

Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

– Ничего такого нету – прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд...

– Ты, Степанида, не прибедряйся. С такой закуской можно неделю гулять, – успокоил ее Василий.

– Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, уже когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

– А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед.

– Ну, скажите мне, что она не вредительница! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей! И за что меня Господь Бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

– Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

– Нальешь в этот – поставлю.

– Неохота при людях с тобой займаться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила...

– Где уж там!

– Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! – запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

– Не рано тебе наравне с мужиками пить? – не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

– Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

– Во-во, – поддакнула Степанида. – Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

– Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, – спокойно сказала она. – Я и без тебя грамотная, понял?

– Как ты разговариваешь с человеком? – затряслась Степанида. – Он кто тебе – дядя родной? – так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли че ли, ума решилась?

– А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

– Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, – не смог остановиться сразу Василий. – Вот кому-то достанется золотце.

– Да уж не тебе.

– Упаси бог.

– То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

– Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

– А ты чего в клуб не пошла? – совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

– Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он, – она показала на Василия, – не будет заедаться.

– Чего это, чего? – насторожилась Степанида.

– Проехали, – отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

– А ты чего, тетка, не допиваешь? – разглядела она. – Всех хитрей хочешь быть?

– Э, нет, так у нас не пойдет, – приподнялся Василий. – Что же ты это, хозяйюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

– Ой, да я с ее хвораю, – стала отказываться Степанида.

– Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит,

не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядячи, тоже кончали это дело. Так выходит?

– Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

– Без тебя не можем, ты хозяйка.

– Сейчас, сейчас. – Степанида заторопилась, допила. – Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

– Посмотрим, – сказала Галька.

– Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

– Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

– Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная – куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

– Давайте еще по одной, – сказал он. – Тебе, Галька, налить?

– Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

– У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет вместо матери была. Поила, кормила и вот вырасти-

ла, полюбуйтеесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

– Ладно вам, – сказал Кузьма. – Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

– Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченная. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся, – голос у Степаниды снова отвердел.

– Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? – спросил Василий.

– Двести пятьдесят.

– Да сколько не работала.

– Больная я, Василий.

– Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

– Что ты, Василий, что ты – какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

– И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

– Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада Богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

– А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

– Не-ет. – Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. – Я думала, так просто, посидеть.

– Притворяется, – безжалостно сказала Галья.

Василий одернул ее.

– Да помолчи ты! Без тебя обойдется. – Степаниде сказал: – Посидеть – это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

– Слышать слышала, кто-то сказывал.

– Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра, после завтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

– Ой, да откуда у меня деньги?

– Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

– Мы скоро отдадим, – сказал Кузьма. – Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

– Вот видишь, это ненадолго, – продолжал Василий. – Они люди надежные, дай им, Степанида.

– Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли че ли?

Галья закричала:

– Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! – крикнула она Степаниде. – Чего ты врешь?

– А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? – под-

скочила Степанида.

– Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачить надо!

– Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! – подсакивала Степанида.

– Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

– Тише вы! – крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: – Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

– Не надо, Василий, – попросил Кузьма.

Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

– Тетку Марию жалко, – причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промокнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

– Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они наконец заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

– Хватит тебе, Галька, реветь, – сказал Василий. – Рано

еще Марию оплакивать.

– Врет она, врет! – закричала опять Гальяка. – Я знаю. Видеть ее не хочу.

– А не хочешь – ну и выметайся! – подхватила Степанида. – Не заплачу. Хошь сейчас выметайся! Ты мне всю шею переела.

– Пойдем, Василий, – сказал Кузьма.

– Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и нехватка казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было неважно.

– Завтра я зайду, – сказал Василий, сворачивая к себе.

– Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, осветят перед собой кусок земли – совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать – это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

- Сережа, – негромко зовет она. – Проснись, Сережа.
- Я не сплю, – отзывается старик. – Так лежу.
- Время принимать лекарство.
- Если время, то давай.

– Не болит сейчас?

– Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

– О-о. – Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана. – Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

– У тебя одно на уме, – несердито отвечает старуха. – Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

– А что – дед раньше-то, поди, поддавал.

– Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

– А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

– Скажи ему, Сережа, сам.

– А зачем? – рассудительно отвечает старик.

– И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и побряхтывая, он опускается вниз и там признается:

– Голова трещит – спасу нет!

– Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил, – говорит старуха.

– Кого замучил?

– Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается.

– Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.

– На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

– Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить. – Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. – Сейчас мы ему скажем: свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

– Ты что, Сережа? – спрашивает она.

– Ничего, ничего.

– Я что-нибудь не так делаю, да?

– Все так. Ты не беспокойся.

– Если не так, ты скажи.

– Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

– Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузь-

ма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливая глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

– Чай пить будете? – спрашивает она.

– Сережа, чай, – говорит старуха.

– Несите, несите. Чай – это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

– Тоже стаканчик выпью, – говорит он.

– Обязательно надо выпить, – отвечает старуха. – Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она спрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

– Правда, Сережа? – спрашивает она.

– Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире
Черное море мое,
Черное море мое.

– Эк красиво! Эк красиво! – укоризненно качает головой старуха. – И кто тебя таким песенкам учит?

– А что – плохие песенки, что ли?

– Да уж чего хорошего?

– Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай. – Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. – Почти в норме, – радостно сообщает он. – Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

– И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

– Деньги – это ерунда, дело наживное.

– Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

– Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они – как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

– Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

– А так. Они поймут, что он жмот, и – с приветом!

– Вот уж не знаю.

– Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, и им себя не жалко. Пришли – ушли, ушли – пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

– Интересная философия, – замечает старик. – Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

– Не-е, зачем? Работать надо, – серьезно отвечает парень. – Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

– Это где же такие деньги? – не выдерживает Кузьма.

– У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

– А что толку? – говорит старуха. – Все равно ты их и пропиваешь.

– Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

– Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

– Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

– А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

– Ну да, не понимает. Но теперь это неважно. Я с ней разошелся.

– Разошелся?

– Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

– А почему?

– Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! – Парень бодрится. – На свете баб много.

– Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

– Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь.

Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

– Неуважение к женщине тоже родом из деревни, – говорит старик старухе.

– Нет, Сережа.

– Что это? – не понимает парень.

– Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

– А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует – и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

– Тебя заездишь, – с сомнением говорит старуха.

– Я другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

– Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата, – не то сердится, не то удивляется старуха. – Вот теперь и достукался, будешь жить один.

– Зачем один? Я себе найду.

– Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

– Бабуся! – с ласковой укоризной произносит парень. – Стоит только свистнуть... На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский,

а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое – ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хаами, сумеи подъехать – и все в порядке будет.

– И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, – говорит старуха.

– Это ты о чем? – удивляется парень. – Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

– Ты всех на свой аршин не меряй.

– Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это... не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

– Сережа, ты слышишь, что он говорит? – улыбаясь, спрашивает старуха.

– Слышу.

– Скажи ему.

– Зачем?

– Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

– Это его дело.

– Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? – говорит парень.

– «Скажи, дед, чего она просит», – передразнивает его

старуха. – Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

– Ты думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? – Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет. – Вот была бы потеха, она бы мне...

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит – все с той же терпеливой улыбкой:

– Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

– Откуда ты это знаешь, бабуся?

– Я ему верю.

– А-а... веришь.

– Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

– А зачем мне было ей изменять? – спрашивает старик у парня.

– Как зачем?

– Да... зачем?

– Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

– Почему ты изменяешь своей жене?

– Интересно.

– Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

– Все интересно. Какая баба и... вообще... все. Бабы ведь разные.

– А Сереже было со мной интересно, – просто говорит старуха. – Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

– Так я ему и поверил, – говорит он.

– Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень беспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

– А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребяташки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

– А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? – спрашивает парень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.